19.04.01

Курсив-Коктейль

Загадка Окуджавы еще не разгадана

Дмитрий **БЫКОВ**

КЛЮЧ ДРОЖИТ В ЗАМКЕ

Фото Сергея ВЕТРОВА

Однотомник Булата Окуджавы в Большой серии «Библиотеки поэта» — событие знаковое, и грех нам, москвичам, что первое фундаментальное издание самого московского поэта мы уступили Питеру. У Окуджавы выходило множество книг в Москве, но почти все это были обычные поэтические сборники, без фундаментальной текстологической подготовки и уточнения дат. Однотомник в «Библиотеке поэта» — знак канонизации, место в пантеоне: Лиза Новикова в «Коммерсанте» справедливо заметила, что своей очереди ждут и Самойлов, и Тарковский, и Слуцкий — поэты как минимум не менее крупные. Однако закономерность в таком выборе питерцев все же есть: Окуджава был, без преувеличения, самым известным русским поэтом своей генерации. Соперничать с ним по количеству строчек, ушедших в пословицы, не мог никто, а слава Евтушенко — в свое время более шумная — меркла по мере того, как Евтушенко неустанно компрометировал себя, и это было особенно заметно на фоне окуджавской сдержанности, безупречности, эталонности. За ним, может быть, и были личные грехи, в которых он тяжко каялся, — но общественный и нравственный его выбор в главном оставался безупречным. Можно было на него оглядываться. Правда, гитара, прославившая его, ему же и мешала — он воспринимался многими как полупоэт, почти поэт, не совсем поэт... Канонизация была необходима — не та народная канонизация, которой Окуджава удостоился еще при жизни, а создание достоверного и полного корпуса текстов, в котором Окуджава был бы явлен в главной — поэтической — своей ипостаси без купюр, ошибок и искажений.

— Я не мог бы назвать себя его другом, — говорит Александр Кушнер, главный редактор «БП», которому в первую очередь мы и обязаны этой восьмисотстраничной книгой. — В конце шестидесятых, во время одного из своих приездов в Ленинград, Окуджава вдруг захотел со мной встретиться, я тут же приехал, и мы познакомились. Я всегда считал его первоклассным поэтом, которого, собственно, какой-то ошибкой пристегнули к эстрадной, стадионной поэзии: почти всем шестидесятникам Окуджава давал значительную фору в смысле глубины, трезвости и зоркости. Меня трогала и подкупала в нем какая-то убежденная старомодность, с которой он, например, не принимал модернизма — сам будучи новатором: любимым своим писателем называл не всеобщего тогдашнего кумира Хемингуэя, а Стефана Цвейга! В нем чувствовался жар под золой, огромная сдержанность при могучих и трагических внутренних борениях. Думаю, он был человек трагический по преимуществу, — и очень загадочный: оттого так трудна его текстология, так легендарна биография. Иногда он намеренно плутал, петлял, путал следы, — размывал факты так же, как размывает он в своих лучших стихах поэтическое слово. Оно мерцает, обрастая многими смыслами, как заметил еще Николай Богомолов. И потому никто не мог поручиться, что он Окуджаве не в тягость, что не нарушает его внутреннего строгого уединения... И хотя он посвятил мне два прекрасных стихотворения, я никогда так и не поговорил с ним по-настоящему. Вероятно, мы оба противники душевных стриптизов, — но именно теперь, когда тексты собраны воедино, я сам поражен разницей между его внешней ровностью, закрытостью, — и этим вечно полыхавшим пожаром его напряженной, горестной, страстной внутренней жизни...

К этой книге может быть полно претензий, хватает в ней и ошибок: некоторые на поверхности, до некоторых докопаются только знатоки. Лично мне не вполне понятно, каким образом может состояться собрание окуджавской лирики без «Песенки о несостоявшихся надеждах» (весь цикл песен для «Соломенной шляпки» намеренно оставлен составителями за бортом); не понимаю я, как можно включить в собрание ранние, самые слабые, глубоко советские калужские сочинения Окуджавы — и оставить за бортом переводы: не надо, конечно, перепечатывать все, тем более, что случались и обычные переложения для заработка, — но уж гениальную песню «Пане-панове», переведенную из Агнешки Осецкой, или «К чему нам быть на ты» — стихи того же автора, ставшие одной из самых популярных песен Окуджавы, — включить было необходимо. Наконец, одна из лучших и самых редких песен Окуджавы «Старый причал», — едва ли не первый хориямб в советской поэзии, — присутствует в обкорнанном виде, как она звучала в старом фильме, без главной, третьей строфы! А ведь есть запись, где Окуджава сам ее поет! Привожу эту строфу хотя бы здесь:

Кто же ты мне,
как тебя звать,
где ты скрываешься,
Сколько уж лет только молчишь,
лишь улыбаешься?
Только рукой где-то
в толпе чуть щевелишь,
Словно забыть старый причал
мне не велишь...

Наверное, текстологи, знатоки, просто друзья Окуджавы найдут немало других ошибок и недоработок — увы, неизбежных. Ругать эту книгу было бы непозволительно дурным тоном: ведь большинство текстологических проблем Окуджава создал сам. Он не слишком «трясся над рукописями», отбрасывал варианты, менял текст от исполнения к исполнению. Некоторые песни забывал, другие переиначивал. Видно, как он прятался: вот ведь, рядом с нами жил человек, о многом могли мы его расспросить, — и все-таки какая темная биография, сколько пробелов, спутанных дат, слухов! Он и сам «мерцал», уходил в туман, на вопросы отвечал скупо. Теперь, после этой книги, по крайней мере ясно, что амплуа певца добра, света и чести, навязанное ему упростителями и усреднителями, на деле имеет весьма касательное отношение к собственно поэтическому творчеству Окуджавы. Видно, как загадочны многие его стихи — отсюда их гипнотическое воздействие; видно, как много в нем тайны — при всем пафосе прямого, подчеркнуто ясного высказывания. Защитник «простых истин», рыцарь общих мест — таким он представал иной раз даже и в самых глубоких статьях о нем (как у Галины Белой в знаменитой статье «Ценность простых истин») — но сколько загадок в его песнях, таких, как «Надежда Чернова» (сам он в интервью пояснил однажды, что Надежда по фамилии Чернова — это русская черная надежда, символ местной безнадежности)! Как темен — и темен даже для самого автора — был «Мой почтальон», которого он и петь-то избегал... Да и песенку о голубом шарике, которую знают решительно все, при всем желании не истолкуешь однозначно. В этом и был секрет Окуджавы — сказать бесконечно много, не говоря почти ничего; явно и наглядно доказать недостаточность слова. Словесное искусство всегда в некотором смысле тоталитарно, — Окуджава же прекрасен именно множественностью смыслов. «Слова Окуджавы неточны — точно его состояние», — гениально заметил Самойлов. Ну, в самом деле: *«Ясный огонь полыхает в камине. Тень моя, тень на холодной стене! Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене! Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний, поплачь обо мне».* Эта изумительная песенка для фильма «Капитан Фракасс» по визборовскому сценарию — настолько больше слов, которые ее составляют! Окуджава был прилежным и вдумчивым учеником фольклора, в котором упоминания случайной, вроде бы совершенно не идущей к делу детали создают ощущение новых смыслов, огромного семантического пространства! Вот эта-то размытость целого при точности и буквализме частностей создавала манеру Окуджавы: *«А как первая любовь — она сердце жжет, а вторая любовь — она к первой льнет, а как третья любовь — ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке».* Три строчки общих слов, и вдруг этот дрожащий ключ, этот чемодан в руке! С войны вернулся герой к своей третьей любови или забрали его в лагеря от этой третьей любови, отпирает он или запирает дверь — неважно. Важно, что в идиллический мир юности с ее общими словами и размытыми понятиями ворвалась конкретика, тревожная символика дороги — ключ, чемодан... И в четырех строчках — вся прелесть и боль мира. Вот почему и сегодня мы повторяем с тем же чувством: *«А как третья война — лишь моя вина, а моя вина — она всем видна».*

Окуджава и в последние годы, когда почти уже не писал песен, а пел редко и с неохотой, — оставался поэтом исключительной силы. И несколько лучших его стихотворений, написанных незадолго до смерти, решительно опровергают мысль о том, что шестидесятники деградировали с годами и утратили трезвую самооценку. Другие, может быть, и деградировали. А этот остался лучшим — и потому написал блистательную позднюю книгу «Милости судьбы», в которой с редкой пронзительной силой напомнил о вечном противоречии слабости человеческой, ничтожества человеческого, — и огня, одухотворяющего эту жалкую глину. В замечательной статье Л. Дубшана, открывающей книгу, анализируются два ранних стихотворения Окуджавы — о солдатике бумажном и солдатике оловянном. Один гибнет в огне «ни за грош» — другой прицеливается даже в того, кто спрашивает: «Тебе не больно?». Оба этих солдатика жили в душе Окуджавы и целились друг в друга до последнего дня. На вечной борьбе силы и слабости, отцовского и материнского, на вечном споре гуманности и чести стояла вся его поэзия — и в семьдесят он точно так же не знал ответов, как и в тридцать. Точнее, он знал, что их нет. И что ценность человека — именно в его противоречиях: вот почему и любовь, и война, и дружба, и творчество — все традиционные темы поэта — решаются у Окуджавы в таком трагическом ключе.

У Окуджавы до сих пор нет своего сайта в Интернете, где можно было бы послушать его песни и ознакомиться с вариантами; нет хорошей — хотя бы как у Высоцкого, не говорю уж «как у Бреля» — коллекции дисков, на которой было бы собрано все, что сохранилось в авторском исполнении. Нет и хорошей книги о нем, подобной той, которую о том же Высоцком закончил сейчас в серии ЖЗЛ Владимир Новиков. Но есть главное — отлично изданный и научно откомментированный том стихов. Лучший памятник ему. И залог того, что, как бы мы ни приближались к Окуджаве, — главная его тайна, как и тайна всякого поэта, разгадана не будет никогда.

Вер. Бицуг. 13 ! 2001 ! Пр. – С.Р.